

„Поблазило“.

Рассказ.

В эту осень у Наума Наумовича случились два несчастья: поблазило и пшеницу из ворохов украли.

Сорок лет прожил Наум, а такой беды не бывало. Давно слышал он, что блазнит людям, а самого— „бог миловал“.

Хозяйство у Наума среднее: четыре лошади, три коровы; работы вдоволь. Пока сын, Демша, маленький был, у Наума годовой работник жил: работы много, а один в поле боялся. Как вечер, Наум из стана не выйдет, там хоть что будь. Кто знает, как выходить-то?—Темно... Страшно... Осенью надо молотить, веять и возить хлеб с пашни. Нельзя миновать, чтобы и ночи в работе не прихватывать. Вот для того-то, можно сказать, и работника держал. Он хоть и молодой, и ростом не велик, а все-же человек. Вдвоем, как-будто, веселее.

Весь день Наум бегаёт: то надо делать, другое начинать, в третьем месте кончать. Ни о чем другом не думает Наум, как только кончить-бы к вечеру работу. От этого и развалено все, разбросано у Наума. А как только вечер, у Наума мысли нехорошие в голову лезут. Силится не думать, работой мелкой развлечься. Нет, все думается!.. Как будто льет кто в голову эти свинцовые думы. И не было возможности остановить их. Шумело в голове в это время у Наума. Торопился варить щи из прошлогоднего вяленого мяса, скорее отужинать и, закрывшись с головой, заснуть в земляном стану. Но и когда ложился спать, не оставляли худые думушки Наума; закроется-закроется, пуще шипит-дышет, а заснуть все-таки не может. Вспоминаются ему зимние рассказы о проделках „нечистой силы“...

Соседи знали, что Наум боится разных небылиц,—и частенько захаживали, наговаривали всякой всячины. Зимой-же эти рассказы были необходимой потребностью Наума,—как пища и сон. Иной раз зайдет к Науму сосед по делу и говорить о деле начнет, а Наум обязательно склонит к рассказам о проделках лесного, водяного и дедушки „буканушки“. Больше всего любил Наум слушать про буканушку и его лихие разъезды на нелюбимых лошадях.

Если нужно к Науму по делу,—приходи днем; вечер, при свете керосиновой лампы, полагался у него на страшные рассказы...

После таких разговоров Наум не выходил на улицу до самого утра.

А как только прокричат утренние петухи, Наум, согнувшись, уже бегаёт в ограде: нечистой силе срок отошел. Петух для нее—горнист... Запоет петух,—и провалится нечисть в тар-тарары...

Рано ложился спать Наум. Солнце закатилось—Наум ужинает; кони уже уведены на ночлег и привязаны на прикол.

Соседи по пашне, смеясь, говорили:

— Ну, бабы, вам время домой собираться... Вон, Наум уже на седало садится!..

Утром вставал Наум и первым делом бежал в падь—коней смотреть. Темно. Наум идет напрямик по густому лесу, на знакомый звон ботала. Он запинается за корни осин, по лицу хлещут мокрые ветки, из-под ног шумливо взлетают испуганные косачи...

Наум не боится утром: петухи пропели.

Сорок лет прожил Наум, сына вырастил, а до нынешней осени ни разу еще мужику не блазило.

* * *

На узкой гривке, между сограми, издали виднелся, мигавший в темноте, огонек. Ночь была такая темная, какие бывают только осенью—в глаз тычком коли, и то не увидишь. Серые облака затянули небо—склон, низко—низко опустились над землей, и вот уже третий день доят непрерывным мелким дождиком...

Вымокшая чаща горела лениво, тускло. Старый, посеревший от шести десятков лет и частых побоев Маркуха-бык то-и-дело припадал к земле и, втянув в легкие струю чистого воздуха, дул под костер. Огонь пригибался к противоположной стороне, потом выправлялся и смелей лизал валежник. Вокруг костра сидели два сына и две снохи Маркухи, и сушили промокшие за день шабуры.

За Маркухой была худая слава:—вора. Давно он этим делом занимался. За воровсто и быком-то прозвали. Лет десять назад тому зарезал Маркуха на пашне чужого быка; мясо домой увез, а кожу и голову в логу закопал. Выяснилось дело,—мужик один подсмотрел за ним,—вырыли кожу, привязали на загривок Маркухе и повели по деревне. Сейчас помнит Маркуха, как кричал: „я вор!... Я чужого быка зарезал!...“ А как его били березовыми стягами!..

Не любил Маркуха, когда его быком называли. Посмотрит косо и, как-бы, скажет: „погоди, дружок, припомню“ .. После этого жди кражи.

Знали это мужики и были осторожны. Обзови, еще чего доброго, Маркуха угонит лошадей,—у него в каждой деревне, говорят, свои люди,—ищи потом.

Сколько ни били Маркуху, он все воровал. Ни одного года не проходило, чтобы он с ворованным не попадался. В восемнадцатом году также вот у мужика коней украл. Долго били на сборне,—одно все говорил:

— Не я, батюшки!... Не знаю!..

Когда веревками за плечи захватывали и на спине поленом веревки завертывали, когда хрустели суставы старых костей, диким голосом кричал:

— Ой!.. Скажу!.. Скажу!..

Ослабляли веревку. Маркуха шевелил плечами и грубым голосом, каким могут говорить только действительно невиновные люди, заявлял:

— Я вам говорю, сукины сыны, не мое дело!.. Ничего не знаю!..

Так на этот раз ничего и не узнали от Маркухи.

Через неделю, оправившись от побоев, Маркуха снова брался за свое „рукомесло“.

Крепок Маркуха, много побит он на своем веку. В шестьдесят лет он не седой, а только серый. А силища такая, что малосильных троих с ног свалит.

Темно было в старом стану Маркухи; в середине капало пуще, чем под открытым небом. Тонко закрытая крышонка вся протекала. На ночь от дождя можно сохраниться только в соломе, где засветло были вырыты норы.

Семья ждала, когда вскипит чайник и можно будет поужинать. Лица, освещенные огнем костра, были медно-красные, а черные волосы блестели.

Старший сын Лука, всмотревшись вдоль гривы, сказал тихонько, глядя на отца:

Наумко, должно, один седни ночует!.. Демша, кабыть, не вернулся.

Напившись с черствым хлебом темно-зеленой жижи, сыновья Маркухи с бабами потянулись к своим норам, а старик, переваливаясь с ноги на ногу, подошел к телеге, где лежала старая палатка.

Вскоре возле потухавшего костра мелькнула закутанная в белое фигура человека и потонула в черном растворе ненастной ночи.

* * *

Осень стояла дождливая,—редко когда провернется ведренный денек. Дождь сменялся слякотью; слякоть—белой крупой, и так без конца. Небо затянуло серыми тучами, конца краю нет, как будто, где-то там, за видимым днем краем земли кто-то разматывал гигантских размеров катушку и тучи полотном тянулись над землей.

Из-за дождливой погоды Наум хлеб измолотил поздно. Теперь бы веять, да вот возить плохо: за десять-то верст потаскайся-ка по грязи. Больше одного раза в день не съездишь, и хлеб весь вымочишь,—соломой не закроешь. Плохая погода, а ждать нечего: того и гляди, что белой скатертью земля покроется.

С утра уехал Демша с хлебом на трех лошадях, а Наум остался присматривать за ворохами.

Темнеть уже начинало, а Демши все не было. Запобаивался Наум, но, в силу необходимости, приходилось ложиться спать одному,—вороха бросить без караульщика боязно.

Засветло поужинал, в угол стана заполз и палаткой плотно, поверх шубы, закрылся... Но не спится Науму. И чем дальше, тем хуже.

Мелкая дрожь начинает пробирать. А все от того, что чудится Науму, что вот он идет вечером в падь, коней смотреть. Шумит лес, хрустит чаща под ногами. Вдруг впереди, между березами, стоит мертвец, в белом саване, и покачивается. Ни жив, ни мертв Наум,—косточки онемели, ни одним суставчиком пошевелить не может...

Это Науму вспоминается зимний рассказ Тимохи.

Наум вздрагивает всем телом и снова погружается в думы. Теперь перед ним, на овине, сидит громадный филин с блестящими глазами и саженым носом. Клюет филин носок Наумова обутка. Из дырки носка выползает черная змея, толщиной в оглоблю...

У остожья кто-то брякнул. Мелькнул в голове конец картины, оборвался... И снова кто-то заложил в голову обрывок—другой, быстро мелькающей, скачущей картины: подувает ветерок; перемешивает

ваает мелкий, как зола, снег. Сидит Наум у проруби и режет ножом голову мертвой лошади... Но, что это?

— Господи Иисусе!—почти вскричал Наум.

До сих пор он только воображал „страсти“, а тут чья-то рука потянула с него палатку.

— Царю... Небесные... живые в помощь... Верую... Верую!..— испуганно бормотал Наум, не попадая зубом на зуб и закрывая голову палаткой.

Невидимая рука снова и сильнее дернула палатку. Наум приподнял голову и увидел перед входом в стан белую фигуру.

— Да воскреснет бог... Да... да...—лепетал он, снова натягивая на себя палатку.

Наума трясло, как в лихорадке: холодные струйки пота выступали по телу, на лоб лезли испуганные голубые глаза, тряслись побелевшие губы...

Белая фигура согнулась вдвое и... поползла в стан. Жался в угол Наум; призывал на помощь всех святых, но видя, что ничто не помогает, диким голосом заорал на все поле:

— Ку-у-ку-у-ре-е-ку-у!.. Ку-у-ку-у-ре-е-ку-у!.. Ку-у-ку-у-ре-е-ку-у!..
Ночное эхо в пади вторило Науму.

Под крышей захлопал крыльями разбуженный петух. Белая фигура, испугавшись дикого крика, или пожалев окончательно лишить ума Наума, попятилась назад и скрылась за стеной землянки.

Когда Наум пришел в себя и выполз с топором в руках,—вокруг никого не было.

— Как сквозь землю нечистый дух провалился!—боязливо и едва слышно произнес Наум.

Остаться больше на пашне одному было не вмоготу, и домой идти в такую пору Наум боялся. О ворохах в это время он не думал; думал только о своем спасеньи. Какие уж тут вороха?.. Наум помнил только, что у него есть дом, жена, петушиное пенье и Демша.

Ах, скорее-бы день!..

Но, все-таки, Наум решил идти домой—остаться на месте, на котором „блзнит“, страшнее, чем идти. Авось, дорогой ничто не повстречается.

Без шапки, в одной холстиной рубахе, с топором в руках, вышел Наум на дорогу.

Только перед самой деревней встретился он с Демшей. Демша ехал шагом и сладко, качая головой, дремал. Он бы и не заметил отца, но тот, увидав своих лошадей, все еще диким голосом, заорал:

— Демша!.. Да, ты, где же это?.. Чуть живой остался!..

Демша посмотрел удивленным взглядом на отца.

— Чо там случилось?

— Блазнит...

Отец не соглашался ехать на пашню; звал сына домой и только решительный отказ Демши: „Надо-же вороха-то караулить“,—заставил сесть Наума в телегу...

Когда Наум с Демшей приехали к остожью, заворины были разобраны и в пшеничном вороху была большая яма, а в стану недоставало нового дубленого тулупа и Наумова полушубка.

А. Коптелов.